

ЛЕВ КАССИЛЬ



РАССКАЗ ОБ ОТСУТСТВУЮЩЕМ

Когда в большом зале штаба фронта адъютант командующего, заглянув в список награждённых, назвал очередную фамилию, в одном из задних рядов поднялся невысокий человек. Кожа на его обострившихся скулах была желтоватой и прозрачной, что наблюдается обычно у людей, долго пролежавших в постели. Припадая на левую ногу, он шёл к столу. Командующий сделал короткий шаг навстречу ему, вручил орден, крепко пожал награждённому руку, поздравил и протянул орденскую коробку.

Награждённый, выпрямившись, бережно принял в руки орден и коробку. Он отрывисто поблагодарил, чётко повернулся, как в строю, хотя ему мешала раненая нога. Секунду он стоял в нерешительности, поглядывая то на орден, лежавший у него на ладони, то на товарищей по славе, собравшихся тут. Потом снова выпрямился.

— Разрешите обратиться?

— Пожалуйста.

— Товарищ командующий... И вот вы, товарищи, — заговорил прерывающимся голосом награждённый, и все почувствовали, что человек очень взволнован. — Дозвольте сказать слово. Вот в этот момент моей жизни, когда я принял великую

награду, хочу я высказать вам о том, кто должен бы стоять здесь, рядом со мной, кто, может быть, больше меня эту великую награду заслужил и своей молодой жизни не пощадил ради нашей воинской победы.

Он протянул к сидящим в зале руку, на ладони которой поблёскивал золотой ободок ордена, и обвёл зал просительными глазами.

— Дозвольте мне, товарищи, свой долг выполнить перед тем, кого тут нет сейчас со мной.

— Говорите, — сказал командующий.

— Просим! — откликнулись в зале.

И тогда он рассказал.

— Вы, наверное, слышали, товарищи, — так начал он, — какое у нас создалось положение в районе Р. Нам тогда пришлось отойти, а наша часть прикрывала отход. И тут нас немцы отсекали от своих. Куда ни пойдёмся, всюду нарываемся на огонь. Бьют по нас немцы из миномётов, долбят лесок, где мы укрылись, из гаубиц, а опушку прочёсывают автоматами. Время истекло, по часам выходит, что наши уже закрепились на новом рубеже, сил противника мы оттянули на себя достаточно, пора бы и до дому, время на соединение оттягиваться. А пробиться, видим, ни в какую нельзя. И здесь оставаться дольше нет никакой возможности. Нащупал нас немец, зажал в лесу, почуял, что наших тут горсточка всего-навсего осталась, и берёт нас своими клещами за горло. Вывод ясен — надо пробиваться окольным путём.

А где он, этот окольный путь? Куда направление выбрать? И командир наш, лейтенант Буторин Андрей Петрович, говорит:

— Без разведки предварительной тут ничего не получится. Надо порыскать да пощупать, где у них щёлка имеется. Если найдём — проскочим.

Я, значит, сразу вызвался.

— Дозвольте, — говорю, — мне попробовать, товарищ лейтенант?

Внимательно посмотрел он на меня. Тут уже не в порядке рассказа, а, так сказать, сбоку должен объяснить, что мы с Андреем из одной деревни — кореши. Сколько раз на рыбалку ездили на Исеть! Потом оба вместе на медеплавильном работали в Ревде. Одним словом, друзья-товарищи. Посмотрел он на меня внимательно, нахмурился.

— Хорошо, — говорит, — товарищ Задохтин, отправляйтесь. Задание вам ясно?

Вывел меня на дорогу, оглянулся, схватил за руку.

— Ну, Коля, — говорит, — давай простимся с тобой на всякий случай. Дело, сам понимаешь, смертельное. Но раз вызвался, то отказать тебе не смею. Выручай, Коля... Мы тут больше двух часов не продержимся. Потери чересчур большие...

— Ладно, — говорю, — Андрей, мы с тобой не в первый раз в такой оборот угодили. Через часок жди меня. Я там высмотрю, что надо... Ну, а уж если не вернусь, кланяйся там нашим, на Урале...

И вот пополз я, хоронюсь по-за деревьями. Попробовал в одну сторону — нет, не пробиться: густым огнём немцы по тому участку кроют. Пополз в обратную сторону. Там на краю лесочка овраг был, буерак такой, довольно глубокий, промытый. А на той стороне у буерака — кустарник, а за ним — дорога, поле открытое. Спустился я в овраг, решил к кустикам

подобраться и сквозь них высмотреть, что в поле делается. Стал я карабкаться по глине наверх, вдруг замечаю, над самой моей головой две босые пятки торчат. Пригляделся, вижу: ступни маленькие, на подошвах грязь присохла и отваливается, как штукатурка, пальцы тоже грязные, поцарапанные, а мизинчик на левой ноге синей тряпочкой перевязан — видно, пострадал где-то... Долго я глядел на эти пятки, на пальцы, которые беспокойно шевелились над моей головой. И вдруг, сам не знаю почему, потянуло меня щекотнуть эти пятки... Даже и объяснить вам не могу. А вот подмывает и подмывает... Взял я колючую былинку да и покорябал ею легонько одну из пяток. Разом исчезли обе ноги в кустах, и на том месте, где торчали из ветвей пятки, появилась голова. Смешная такая, глаза перепуганные, безбровые, волосы лохматые, выгоревшие, а нос весь в веснушках.

— Ты что тут? — говорю я.

— Я, — говорит, — корову ищу. Вы не видели, дядя? Маришкой зовут. Сама белая, а на боке чёрное. Один рог вниз торчит, а другого вовсе нет... Только вы, дядя, не верьте... Это я всё вру... пробую так. Дядя, — говорит, — вы от наших отбились?

— А это кто такие ваши? — спрашиваю.

— Ясно кто — Красная Армия... Только наши вчера за реку ушли. А вы, дядя, зачем тут? Вас немцы зацапают.

— А ну, иди сюда, — говорю. — Расскажи, что тут в твоей местности делается.

Голова исчезла, опять появилась нога, а ко мне по глиняному склону на дно оврага, как на салазках, пятками вперёд, съехал мальчонка лет тринадцати.

— Дядя, — зашептал он, — вы скорее отсюда давайте куда-нибудь. Тут немцы. У них вон у того леса четыре пушки стоят, а здесь сбоку миномёты ихние установлены. Тут через дорогу никакого ходу нет.

— И откуда, — говорю, — ты всё это знаешь?

— Как, — говорит, — откуда? Даром, что ли, с утра наблюдаю?

— Для чего же наблюдаешь?

— Пригодится в жизни, мало ль что...

Стал я его расспрашивать, и малец рассказал мне про всю обстановку. Выяснил я, что овраг идёт по лесу далеко и по дну его можно будет вывести наших из зоны огня. Мальчишка вызвался проводить нас. Только мы стали выбираться из оврага в лес, как вдруг засвистело в воздухе, завыло и раздался такой треск, словно вокруг половину деревьев разом на тысячи сухих щепок расколело. Это немецкая мина угодила прямо в овраг и рванула землю около нас. Темно стало у меня в глазах. Потом я высвободил голову из-под насыпавшейся на меня земли, огляделся: где, думаю, мой маленький товарищ? Вижу, медленно приподымает он свою кудлатую голову от земли, начинает выковыривать пальцем глину из ушей, изо рта, из носа.

— Вот это так дало! — говорит. — Попало нам, дядя, с вами, как богатым... Ой, дядя, — говорит, — погодите! Да вы ж раненый.

Хотел я подняться, а ног не чую. И вижу — из разорванного сапога кровь плывёт. А мальчишка вдруг прислушался, вскарабкался к кустам, выглянул на дорогу, скатился опять вниз и шепчет:

— Дядя, — говорит, — сюда немцы идут. Офицер впереди. Честное слово! Давайте скорее отсюда. Эх ты, как вас сильно...

Попробовал я шевельнуться, а к ногам словно по десять пудов к каждой привязано. Не вылезти мне из оврага. Тянет меня вниз, назад...

— Эх, дядя, дядя, — говорит мой дружок и сам чуть не плачет, — ну, тогда лежите здесь, дядя, чтоб вас не слышать, не видеть. А я им сейчас глаза отведу, а потом вернусь, после...

Побледнел он так, что веснушек ещё больше стало, а глаза у самого блестят. «Что он такое задумал?» — соображаю я. Хотел было его удержать, схватил за пятку, да куда там! Только мелькнули над моей головой его ноги с растопыренными чумазыми пальцами — на мизинчике синяя тряпочка, как сейчас вижу... Лежу я и прислушиваюсь. Вдруг слышу: «Стой!.. Стоять! Не ходить дальше!» Заскрипели над моей головой тяжёлые сапоги, я расслышал, как немец спросил:

— Ты что такое тут делал?

— Я, дяденька, корову ищу, — донёсся до меня голос моего дружка, — хорошая такая корова, сама белая, а на боке чёрное, один рог вниз торчит, а другого вовсе нет. Маришкой зовут. Вы не видели?

— Какая такая корова? Ты, я вижу, хочешь болтать мне глупости. Иди сюда близко. Ты что такое лазал тут уж очень долго, я тебя видел, как ты лазал.

— Дяденька, я корову ищу, — стал опять плаксиво тянуть мой мальчонка. И внезапно по дороге чётко застучали его лёгкие босые пятки.

— Стоять! Куда ты смел? Назад! Буду стрелять! — закричал немец.

Над моей головой забухали тяжёлые кованые сапоги. Потом раздался выстрел. Я понял: дружок мой нарочно бросился бежать в сторону от оврага, чтобы отвлечь немцев от меня. Я прислушался, задыхаясь. Снова ударил выстрел. И услышал я далёкий, слабый вскрик. Потом стало очень тихо... Я как припадочный бился. Я зубами грыз землю, чтобы не закричать, я всей грудью на свои руки навалился, чтобы не дать им схватиться за оружие и не ударить по фашистам. А ведь нельзя мне было себя обнаруживать. Надо выполнить задание до конца. Погибнут без меня наши. Не выберутся. Опираясь на локти, цепляясь за ветви, пополз я... После уже ничего не помню. Помню только — когда открыл глаза, увидел над собой совсем близко лицо Андрея...

Ну вот, так мы и выбрались через тот овраг из лесу...

Он остановился, передохнул и медленно обвёл глазами весь зал.

— Вот, товарищи, кому я жизнью своей обязан, кто нашу часть вызволить из беды помог. Понятно, стоять бы ему тут, у этого стола. Да вот не вышло... И есть у меня ещё одна просьба к вам... Почтим, товарищи, память дружка моего безвестного — героя безымянного... Вот даже и как звать его, спросить не успел...

И в большом зале тихо поднялись лётчики, танкисты, моряки, генералы, гвардейцы — люди славных боёв, герои жестоких битв, поднялись, чтобы почтить память маленького, никому неведомого героя, имени которого никто не знал. Молча стояли понурившиеся люди в зале, и каждый по-своему видел перед собой кудлатого мальчонку, веснушчатого и голопятого, с синей замурзанной тряпочкой на босой ноге...

ЛИНИЯ СВЯЗИ

Памяти сержанта Новикова

Лишь несколько кратких информационных строк было напечатано в газетах об этом. Я не стану повторять их вам, потому что все, кто читал это сообщение, запомнили его навсегда. Нам неизвестны подробности, мы не знаем, как жил человек, совершивший этот подвиг. Мы знаем только, как кончилась его жизнь. Товарищам его в лихорадочной спешке боя некогда было записывать все обстоятельства того дня. Придёт ещё время, когда героя воспоют в балладах, вдохновенные страницы будут охранять бессмертие и славу этого поступка. Но каждый из нас, прочитавших коротенькое, скупое сообщение о человеке и его подвиге, захотел сейчас же, ни на минуту не откладывая, ничего не дожидаясь, представить, как всё это свершилось... Пусть меня поправят потом те, кто участвовал в этом бою, может быть, я не совсем точно представляю себе обстановку или прошёл мимо каких-то деталей, а что-то прибавил от себя, но я расскажу обо всём так, как увидело поступок этого человека моё воображение, взволнованное пятистрочной газетной заметкой.

Я увидел просторную снежную равнину, белые холмы и редкие перелески, сквозь которые, шурша о ломкие стебли, мчался морозный ветер. Я слышал надсадный и охрипший голос штабного телефониста, который, ожесточённо вертя рукоятку коммутатора и нажимая кнопки, тщетно вызывал часть, занимавшую отдалённый рубеж. Враг окружал эту

часть. Надо было срочно связаться с ней, сообщить о начавшемся обходном движении противника, передать с командного пункта приказ о занятии другого рубежа, иначе — гибель... Пробраться туда было невозможно. На пространстве, которое отделяло командный пункт от ушедшей далеко вперёд части, сугробы лопались, словно огромные белые пузыри, и вся равнина пенилась, как пенится и бурлит взбу́ренная поверхность закипевшего молока.

Немецкие миномёты били по всей равнине, взметая снег вместе с комьями земли. Вчера ночью через эту смертную зону связисты проложили кабель. Командный пункт, следя за развитием боя, слал по этому проводу указания, приказы и получал ответные сообщения о том, как идёт операция. Но вот сейчас, когда требовалось немедленно изменить обстановку и отвести передовую часть на другой рубеж, связь внезапно прекратилась. Напрасно бился над своим аппаратом, припадая ртом к трубке, телефонист:

— Двенадцатая!.. Двенадцатая!.. Ф-фу... — Он дул в трубку. — Арина! Арина!.. Я — Сорока!.. Отвечайте... Отвечайте!.. Двенадцать восемь дробь три!.. Петя! Петя!.. Ты меня слышишь? Дай отзыв, Петя!.. Двенадцатая! Я — Сорока!.. Я — Сорока! Арина, вы слышите нас? Арина!..

Связи не было.

— Обрыв, — сказал телефонист.

И вот тогда человек, который только вчера под огнём прополз всю равнину, хоронясь за сугробами, переползая через холмы, зарываясь в снег и волоча за собой телефонный кабель, человек, о котором мы прочли потом в газетной заметке, поднялся, запахнул

белый халат, взял винтовку, сумку с инструментами и сказал очень просто:

— Я пошёл. Обрыв. Ясно. Разрешите?

Я не знаю, что говорили ему товарищи, какими словами напутствовал его командир. Все понимали, на что решился человек, отправляющийся в проклятую зону...

Провод шёл сквозь разрозненные ёлочки и редкие кусты. Вьюга звенела в осоке над замёрзшими болотцами. Человек полз. Немцы, должно быть, вскоре заметили его. Маленькие вихри от пулемётных очередей, курясь, затанцевали хороводом вокруг. Снежные смерчи разрывов подбирались к связисту, как косматые призраки, и, склоняясь над ним, таяли в воздухе. Его обдавало снежным прахом. Горячие осколки мин противно взвизгивали над самой головой, шевеля взмокшие волосы, вылезшие из-под капюшона, и, шипя, плавил снег совсем рядом...

Он не слышал боли, но почувствовал, должно быть, страшное онемение в правом боку и, оглянувшись, увидел, что за ним по снегу тянется розовый след. Больше он не оглядывался. Метров через триста он нащупал среди вывороченных обледенелых комьев земли колючий конец провода. Здесь прерывалась линия. Близко упавшая мина порвала провод и далеко в сторону отбросила другой конец кабеля. Ложбинка эта вся простреливалась миномётами. Но надо было отыскать другой конец оборванного провода, проползти до него, снова срастить разомкнутую линию.

Грохнуло и завыло совсем близко. Стопудовая боль обрушилась на человека, придавила его к земле. Человек, отплёвываясь, выбрался из-под навалившихся

на него комьев, повёл плечами. Но боль не стряхивалась, она продолжала прижимать человека к земле. Человек чувствовал, что на него наваливается удушливая тяжесть. Он отполз немного, и, наверное, ему показалось, что там, где он лежал минуту назад, на пропитанном кровью снегу, осталось всё, что было в нём живого, а он двигается уже отдельно от самого себя. Но как одержимый он карабкался дальше по склону холма. Он помнил только одно: надо отыскать висящий где-то там, в кустах, конец провода, нужно добраться до него, уцепиться, подтянуть, связать. И он нашёл оборванный провод. Два раза падал человек, прежде чем смог приподняться. Что-то снова жгуче стегнуло его по груди, он повалился, но опять привстал и схватился за провод. И тут он увидел, что немцы приближаются. Он не мог отстреливаться: руки его были заняты... Он стал тянуть проволоку на себя, отползая назад, но кабель запутался в кустах. Тогда связист стал подтягивать другой конец. Дышать ему становилось всё труднее и труднее. Он спешил. Пальцы его коченели...

И вот он лежит неловко, боком на снегу и держит в раскинутых, костенеющих руках концы оборванной линии. Он силится сблизить руки, свести концы провода вместе. Он напрягает мышцы до судорог. Смертная обида томит его. Она горше боли и сильнее страха... Всего лишь несколько сантиметров разделяют теперь концы провода. Отсюда к переднему краю обороны, где ожидают сообщения отрезанные товарищи, идёт провод... И назад, к командному пункту, тянется он. И надрываются до хрипоты телефонисты... А спасительные слова помощи не могут пробиться через эти

несколько сантиметров проклятого обрыва! Неужели не хватит жизни, не будет уже времени соединить концы провода? Человек в тоске грызёт снег зубами. Он силится встать, опираясь на локти. Потом он зубами зажимает один конец кабеля и в исступлённом усилии, перехватив обеими руками другой провод, подтаскивает его ко рту. Теперь не хватает не больше сантиметра. Человек уже ничего не видит. Искристая тьма выжигает ему глаза. Он последним рывком дёргает провод и успевает закусить его, до боли, до хруста сжимая челюсти. Он чувствует знакомый кисловато-солёный вкус и лёгкое покалывание языка. Есть ток! И, нашарив винтовку помертвевшими, но теперь свободными руками, он валится лицом в снег, неистово, всем остатком своих сил стискивая зубы. Только бы не разжать... Немцы, осмелев, с криком набегают на него. Но опять он наскрёб в себе остатки жизни, достаточные, чтобы приподняться в последний раз и выпустить в близко сунувшихся врагов всю обойму... А там, на командном пункте, просиявший телефонист кричит в трубку:

— Да, да! Слышу! Арина? Я — Сорока! Петя, дорогой! Принимай: номер восемь по двенадцатому.

...Человек не вернулся обратно. Мёртвый, он остался в строю, на линии. Он продолжал быть проводником для живых. Навсегда онемел его рот. Но, пробиваясь слабым током сквозь стиснутые его зубы, из конца в конец поля сражения неслись слова, от которых зависели жизни сотен людей и результат боя. Уже отомкнутый от самой жизни, он всё ещё был включён в её цепь. Смерть заморозила его сердце, оборвала ток крови в оледеневших сосудах. Но яростная пред-

смертная воля человека торжествовала в живой связи людей, которым он остался верен и мёртвый.

Когда в конце боя передовая часть, получив нужные указания, ударила немцам во фланг и ушла от окружения, связисты, сматывая кабель, наткнулись на человека, полузанесённого позёмкой. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в снег. В руке его была винтовка, и окоченевший палец застыл на спуске. Обойма была пуста. А поблизости в снегу нашли четырёх убитых немцев. Его приподняли, и за ним, вспарывая белизну сугроба, потащился прикушенный им провод. Тогда поняли, как была восстановлена линия связи во время боя...

Так крепко были стиснуты зубы, зажавшие концы кабеля, что пришлось обрезать провод в углах окоченевшего рта. Иначе не освободить было человека, который и после смерти стойко нёс службу связи. И все вокруг молчали, стиснув зубы от боли, пронявшей сердце, как умеют молчать в горе русские люди, как молчат они, если попадают, обессиленные от ран, в лапы «мёртвоголовых», — наши люди, у которых никакой мукой, никакими пытками не разжать стиснутых зубов, не вырвать ни слова, ни стона, ни закушенного провода.

ЗЕЛЁНАЯ ВЕТОЧКА

С. Л. С.

На Западном фронте мне пришлось некоторое время жить в землянке техника-интенданта Тарасникова. Он работал в оперативной части штаба гвардейской бригады. Тут же, в землянке, помещалась

его канцелярия. Трёхлинейная лампешка освещала низкий сруб. Пахло свежим тёсом, земляной сыростью и сургучом. Сам Тарасников, невысокий, болезненного вида молодой человек со смешными рыжими усиками и жёлтым, обкуренным ртом, встретил меня вежливо, но не слишком приветливо.

— Устройтесь вот тут, — сказал он мне, указывая на топчан и тотчас снова склоняясь над своими бумагами. — Сейчас вам подстелят палатку. Надеюсь, моя контора вас не стеснит? Ну и вы, рассчитываю, тоже особенно мешать нам не будете. Условимся так. Присаживайтесь пока.

И я стал жить в подземной канцелярии Тарасникова. Это был очень беспокойный, необычайно дотошный и придирчивый работяга. Целые дни он надписывал и клеивал пакеты, припечатывал их сургучом, согретым над лампой, рассылал какие-то донесения, принимал бумаги, перечерчивал карту, стучал одним пальцем на заржавленной машинке, тщательно выбивая каждую букву. По вечерам его мучили приступы лихорадки, он глотал акрихин, но лечь в госпиталь категорически отказывался:

— Что вы, что вы! Куда же я уйду? Да тут всё дело без меня станет! Всё на мне и держится. На день мне уйти — так потом год не распутаешься тут...

Поздно ночью, вернувшись с переднего края обороны, засыпая на своём топчане, я всё ещё видел за столом усталое и бледное лицо Тарасникова, освещённое огнём лампы, деликатно, ради меня, приспущенным, и укутанное табачным туманом. От глиняной печурки, сложенной в углу, шёл горячий чад. Усталые глаза Тарасникова слезились, но он продолжал

надписывать и клеивать пакеты. Потом он вызывал связного, который дожидался за плащ-палаткой, повешенной у входа в нашу землянку, и я слышал следующий разговор.

— Кто из пятого батальона? — спрашивал Тарасников.

— Я из пятого батальона, — отвечал связной.

— Примите пакет... Вот. Возьмите его в руки. Так. Видите, написано здесь: «Срочно». Следовательно, доставить немедленно. Вручить лично командиру. Понятно? Не будет командира — передадите комиссару. Комиссара не будет — разыщите. Больше никому не передавать. Ясно? Повторите.

— Доставить пакет срочно, — как на уроке, однотонно повторял связной. — Лично командиру, если не будет — комиссару, если не будет — отыскать.

— Правильно. В чём понесёте пакет?

— Да уж обыкновенно... Вот тут, в кармане.

— Покажите ваш карман. — И Тарасников подходил к высокому связному, становился на цыпочки, просовывал руку под плащ-палатку, за пазуху шинели, и проверял, нет ли прорех в кармане.

— Так, в порядке. Теперь учтите: пакет секретный. Следовательно, если попадёте противнику, что будете делать?

— Да что вы, товарищ техник-интендант, зачем же я буду попадаться!

— Попадаться незачем, совершенно верно, но я вас спрашиваю: что будете делать, если попадёте?

— Да я сроду никогда не попадусь...

— А я вас спрашиваю — если? Так вот, слушайте. Если что, опасность какая, так содержимое съешьте

не читая. Конверт разорвать и бросить. Ясно? Повторите.

— В случае опасности конверт разорвать и бросить, а что посерединке — съесть.

— Правильно. Через сколько времени вручите пакет?

— Да тут минут сорок и идти всего.

— Точнее прошу.

— Да так, товарищ техник-интендант, я считаю, не больше пятидесяти минут пройду.

— Точнее.

— Да через час-то уж наверняка доставлю.

— Так. Заметьте время. — Тарасников щёлкал огромными кондукторскими часами. — Сейчас двадцать три пятьдесят. Значит, обязаны вручить не позднее ноль пятьдесят минут. Ясно? Можете идти.

И этот диалог повторялся с каждым посыльным, с каждым связным. Покончив со всеми пакетами, Тарасников укладывался. Но и во сне он продолжал учить связных, обижался на кого-то, и часто ночью меня будил его громкий суховатый, отрывистый голос.

«Как стоите? Вы куда пришли? Это вам не парикмахерская, а канцелярия штаба!» — чётко говорил он во сне.

«Почему вошли, не доложившись? Выйдите и войдите ещё раз. Пора научиться порядку. Так. Погодите. Видите, человек ест? Можете обождать, у вас не срочный пакет. Дайте человеку поесть... Распишитесь... Время отправления... Можете идти. Вы свободны...»

Я тормозил его, пытаюсь разбудить. Он вскакивал, смотрел на меня малоосмысленным взглядом и, снова повалившись на койку, прикрывшись шинелью,

мгновенно погружался в свои штабные сны. И опять принимался быстро говорить.

Всё это было не очень приятно. И я уже подумывал, как бы мне перебраться в другую землянку. Но однажды вечером, когда я вернулся в нашу халупку, основательно промокнув под дождём, и сел на корточки перед печкой, чтобы растопить её, Тарасников встал из-за стола и подошёл ко мне.

— Тут, значит, получается так, — сказал он несколько виновато. — Я, видите ли, решил временно не топить печку. Давайте деньков пять воздержимся. А то, знаете, печка угар даёт, и это, видимо, отражается на её росте... Плохо на неё воздействует.

Я, ничего не понимая, смотрел на Тарасникова.

— На чьём росте? На росте печки?

— При чём же тут печка? — обиделся Тарасников. — Я, по-моему, выражаюсь достаточно ясно. Этот самый чад, он, видно, плохо действует... Она совсем расти перестала.

— Да кто расти перестал?

— А вы что же, до сих пор не обратили внимания! — уставившись на меня с негодованием, закричал Тарасников. — А это что? Не видите? — И он с внезапной нежностью поглядел на низкий бревенчатый потолок нашей землянки.

Я привстал, поднял лампу и увидел, что толстый кругляш вяза в потолке пустил зелёный росток. Бледненький и нежный, с зыбкими листочками, он протянулся под потолок. В двух местах его поддерживали белые тесёмочки, приколотые кнопками к потолочине.

— Понимаете? — заговорил Тарасников. — Всё время росла. Такая славная веточка вымахнула. А тут

стали мы с вами топить часто, а ей, видно, не нравится. Я вот тут зарубочки делал на бревне, и даты у меня проставлены. Видите, как сперва быстро росла. Иной день по два сантиметра вытягивала. Даю вам честное благородное слово! А как стали мы с вами чадить тут, вот уже три дня не наблюдаю роста. Так ей и захиреть недолго. Давайте уж воздержимся. И курить бы надо поменьше. Стебелёчек-то нежненький, на него всё влияет. А меня, знаете, интересует: доберётся он до выхода? А? Ведь так, чертёнок, и тянется поближе к воздуху, где солнце, чует из-под земли.

И мы легли спать в нетопленной, сырой землянке. На другой день я, чтобы снискать расположение Тарасникова, сам уже заговорил с ним о его веточке.

— Ну как, — спросил я, сбрасывая с себя мокрую плащ-палатку, — растёт?

Тарасников выскочил из-за стола, посмотрел мне внимательно в глаза, желая проверить, не смеюсь ли я над ним, но, увидев, что я говорю серьёзно, с тихим восторгом поднял лампу, отвёл её чуточку в сторону, чтобы не закоптить свою веточку, и почти шёпотом сообщил мне:

— Представьте себе, почти на полтора сантиметра вытянулась. Я же говорил, топить не надо. Просто удивительное это явление природы!..

Ночью немцы обрушили на наше расположение массированный артиллерийский огонь. Я проснулся от грохота близких разрывов, выплёвывая землю, которая от сотрясения обильно посыпалась на нас сквозь бревенчатый потолок. Тарасников тоже проснулся и зажёл лампочку. Всё ухало, дрожало и тряслось вокруг нас. Тарасников поставил лампочку

на середину стола, откинулся на койке, заложив руки за голову:

— Я так думаю, что большой опасности нет. Не повредит её? Конечно, сотрясение, но тут над нами три наката. Разве уж только прямое попадание. А я её, видите, подвязал. Словно предчувствовал...

Я с интересом поглядел на него.

Он лежал, запрокинув голову на подложенные за затылок руки, и с нежной заботой смотрел на зелёный слабенький росточек, вившийся под потолком. Он просто забыл, видимо, о том, что снаряд может обрушиться на нас самих, разорваться в землянке, похоронить нас заживо под землёй. Нет, он думал только о бледной зелёной веточке, протянувшейся под потолком нашей халупы. Только за неё беспокоился он.

И часто теперь, когда я встречаю на фронте и в тылу взыскательных, очень занятых, суховатых на первый взгляд, малоприветливых как будто людей, я вспоминаю техника-интенданта Тарасникова и его зелёную веточку. Пусть грохочет огонь над головой, пусть промозглая сырость земли проникает в самые кости, всё равно — лишь бы уцелел, лишь бы дотянулся до солнца, до желанного выхода робкий, застенчивый зелёный росток.

И кажется мне, что есть у каждого из нас своя заветная зелёная веточка. Ради неё готовы мы перенести все мытарства и невзгоды военной поры, потому что твёрдо знаем: там, за выходом, завешенным сегодня отсыревшей плащ-палаткой, солнце непременно встретит, согреет и даст новые силы дотянувшейся, нами выращенной и сбережённой ветке нашей.

У КЛАССНОЙ ДОСКИ

Про учительницу Ксению Андреевну Карташову говорили, что у неё руки поют. Движения у неё были мягкие, неторопливые, округлые, и, когда она объясняла урок в классе, ребята следили за каждым мановением руки учительницы, и рука пела, рука объясняла всё, что оставалось непонятным в словах. Ксении Андреевне не приходилось повышать голос на учеников, ей не надо было прикрикивать. Зашумят в классе, она подымет свою лёгкую руку, поведёт ею — и весь класс словно прислушивается, сразу становится тихо.

— Ух, она у нас и строгая же! — хвастались ребята. — Сразу всё замечает...

Тридцать два года учительствовала в селе Ксения Андреевна. Сельские милиционеры отдавали ей честь на улице и, козыряя, говорили:

— Ксения Андреевна, ну как мой Ванька у вас по науке двигает? Вы его там покрепче.

— Ничего, ничего, двигается понемножку, — отвечала учительница, — хороший мальчуган. Ленился вот только иногда. Ну, это и с отцом бывало. Верно ведь?

Милиционер смущённо оправлял пояс: когда-то он сам сидел за партой и отвечал у доски Ксении Андреевне и тоже слышал про себя, что малый он неплохой, да только ленился иногда... И председатель колхоза был когда-то учеником Ксении Андреевны, и директор машинно-тракторной станции учился у неё. Много людей прошло за тридцать два года через класс Ксении Андреевны. Строгим, но справедливым человеком прослыла она.

Волосы у Ксении Андреевны давно побелели, но глаза не выцвели и были такие же синие и ясные, как в молодости. И всякий, кто встречал этот ровный и светлый взгляд, невольно веселел и начинал думать, что, честное слово, не такой уж он плохой человек и на свете жить безусловно стоит. Вот какие глаза были у Ксении Андреевны!

И походка у неё была тоже лёгкая и певучая. Девочки из старших классов старались перенять её. Никто никогда не видел, чтобы учительница заторопилась, поспешила. А в то же время всякая работа быстро спорилась и тоже словно пела в её умелых руках. Когда писала она на классной доске условия задачи или примеры из грамматики, мел не стучал, не скрипел, не крошился, и ребятам казалось, что из мелка, как из тубика, легко и вкусно выдавливаются белая струйка, выписывая на чёрной глади доски буквы и цифры. «Не спеши! Не скачи, подумай сперва как следует!» — мягко говорила Ксения Андреевна, когда ученик начинал плутать в задаче или в предложении и, усердно надписывая и стирая написанное тряпкой, плавал в облачках мелового дыма.

Не заспешила Ксения Андреевна и в этот раз. Как только послышалась трескотня моторов, учительница строго оглядела небо и привычным голосом сказала ребятам, чтобы все шли к траншее, вырытой в школьном дворе. Школа стояла немножко в стороне от села, на пригорке. Окна классов выходили к обрыву над рекой. Ксения Андреевна жила при школе. Занятий не было. Фронт проходил совсем недалеко от села. Где-то рядом гроыхали бои. Части Красной Армии отошли за реку и укрепились там. А колхозники

собрали партизанский отряд и ушли в ближний лес за селом. Школьники носили им туда еду, рассказывали, где и когда были замечены немцы. Костя Рожков — лучший пловец школы — не раз доставлял на тот берег красноармейцам донесения от командира лесных партизан. Шура Капустина однажды сама перевязала раны двум пострадавшим в бою партизанам — этому искусству научила её Ксения Андреевна. Даже Сеня Пичугин, известный тихоня, высмотрел как-то за селом немецкий патруль и, разведав, куда он идёт, успел предупредить отряд.

Под вечер ребята собирались у школы и обо всём рассказывали учительнице. Так было и в этот раз, когда совсем близко заурчали моторы. Фашистские самолёты не раз уже налетали на село, бросали бомбы, рыскали над лесом в поисках партизан. Косте Рожкову однажды пришлось даже целый час лежать в болоте, спрятав голову под широкие листья кувшинок. А совсем рядом, подсечённый пулемётными очередями самолёта, валился в воду камыш... И ребята уже привыкли к налётам.

Но теперь они ошиблись. Урчали не самолёты. Ребята ещё не успели спрятаться в щель, как на школьный двор, перепрыгнув через невысокий палисад, забежали три запалённых немца. Автомобильные очки со створчатыми стёклами блестели на их шлемах. Это были разведчики-мотоциклисты. Они оставили свои машины в кустах. С трёх разных сторон, но все разом они бросились к школьникам и нацелили на них свои автоматы.

— Стой! — закричал худой длиннорукий немец с короткими рыжими усиками, должно быть начальник. — Пионирен? — спросил он.

Ребята молчали, невольно отодвигаясь от дула пистолета, который немец по очереди совал им в лицо.

Но жёсткие, холодные стволы двух других автоматов больно нажимали сзади в спины и шеи школьников.

— Шнеллер, шнеллер, бистро! — закричал фашист.

Ксения Андреевна шагнула вперёд прямо на немца и прикрыла собой ребят.

— Что вы хотите? — спросила учительница и строго посмотрела в глаза немцу. Её синий и спокойный взгляд смутил невольно отступившего фашиста.

— Кто такое ви? Отвечать сию минуту... Я кой-чем говорить по-русски.

— Я понимаю и по-немецки, — тихо отвечала учительница, — но говорить мне с вами не о чем. Это мои ученики, я учительница местной школы. Вы можете опустить ваш пистолет. Что вам угодно? Зачем вы пугаете детей?

— Не учить меня! — зашипел разведчик.

Двое других немцев тревожно оглядывались по сторонам. Один из них сказал что-то начальнику. Тот забеспокоился, посмотрел в сторону села и стал толкать дулом пистолета учительницу и ребят по направлению к школе.

— Ну, ну, поторапливайся, — приговаривал он, — мы спешим... — Он пригрозил пистолетом. — Два маленьких вопроса — и всё будет в порядке.

Ребят вместе с Ксенией Андреевной втолкнули в класс. Один из фашистов остался сторожить на школьном крыльце. Другой немец и начальник загнали ребят за парты.

— Сейчас я вам буду давать небольшой экзамен, — сказал начальник. — Сидеть на место!

Но ребята стояли, сгрудившись в проходе, и смотрели, бледные, на учительницу.

— Садитесь, ребята, — своим негромким и обычным голосом сказала Ксения Андреевна, как будто начинался очередной урок.

Ребята осторожно расселись. Они сидели молча, не спуская глаз с учительницы. Они сели, по привычке, на свои места, как сидели обычно в классе: Сеня Пичугин и Шура Капустина впереди, а Костя Рожков сзади всех, на последней парте. И, очутившись на своих знакомых местах, ребята понемножку успокоились.

За окнами класса, на стёклах которых были наклеены защитные полоски, спокойно голубело небо, на подоконнике в банках и ящиках стояли цветы, выращенные ребятами. На стеклянном шкафу, как всегда, парил ястреб, набитый опилками. И стену класса украшали аккуратно наклеенные гербарии. Старший немец задел плечом один из наклеенных листов, и на пол посыпались с лёгким хрустом засушенные ромашки, хрупкие стебельки и веточки.

Это больно резнуло ребят по сердцу. Всё было дико, всё казалось противным привычно установившемуся в этих стенах порядку. И таким дорогим показался ребятам знакомый класс, парты, на крышках которых засохшие чернильные подтёки отливали, как крыло жука-бронзовика.

А когда один из фашистов подошёл к столу, за которым обычно сидела Ксения Андреевна, и пнул его ногой, ребята почувствовали себя глубоко оскорблёнными.